



Н. Н. СТРАХОВ

Счастливые люди

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ *Один из наших типов*

Давно уже не писал я ничего; скажу вообще — писать в настоящее время — задача! Но — я по-прежнему ревностно следил за явлениями отечественной словесности и стремился извлечь из них пользу и поучение. Особенно следил я за предметом, который, как мне кажется, я могу с некоторым правом считать своею специальностью — за нигилизмом. И вот берусь теперь за перо, для того, чтобы исправить некоторые односторонние мнения, к сожалению, весьма распространенные относительно этого предмета.

Вместо всяких рассуждений, возьму прямо пример. В 17 № «Дня» за текущий год¹ есть следующая характеристика нигилизма в эпоху его процветания:

«Не было той дикости, которой не проповедовала бы вслух известная часть петербургской журналистики за это время, и не было той грязной выходки, которую бы она себе не позволила — вот существенные доблести этой эпохи *a la Renaissance*². Наглость, изворотливость, какое-то мастерство лжи и победительный блеск во взоре от сознания именно своей непревосходимости в этом искусстве — вот коренные отличия ее нравственного достоинства. Заносчивость школынико, тайком прочитавшего две-три запрещенных книжки, и его же капитальное невежество — вот вечно одни и те же проблески этой *зари возрождения*. Можно смело сказать, не было того истинно-достойного или мало-мальски порядочного произведения в нашей литературе, которое сейчас же не подвергалось бы со стороны этого «нового веющего духа» всяческому оплеванию и осмеянию. Не было, напротив того, мельчайшей брошюроки или статейки, ученого волюминозного³ трактата или беглой повестушки, появление которых не приветствовалось бы сейчас эпохой возрождения в трубы и в литавры — лишь бы автор в них, что

называется, выкидывал коленце. И всякие средства считались позволенными для духоносцев этой эпохи, лишь бы достигать своих целей, лишь бы давать *ход новому веющему духу*. Искажение мыслей автора, перетасовка цитируемых из него строчек, глумление над ним, сочинение на его счет небывалых анекдотов — все допускалось в полемике, не в виде нечаянной обмолвки, а в виде правила, очень сознательно принятого для руководства».

Признаюсь, от г. Н. Б., представляющего столь приятное явление в нашей литературе последнего времени, я ждал чего-нибудь более оригинального, чем эта характеристика. Он, очевидно, только повторил фразы, уже давно ставшие ходячими. Главную мысль даже прямо можно назвать заимствованной. Именно года два тому назад она была высказана «Московскими Ведомостями»⁴. Не угодно ли сравнить «Современную Летопись, воскресные прибавления к Московским Ведомостям» за 1863, № 26. Вот это место:

«Не было такой нелепости и такого безумства, которые бы тогда не могли рассчитывать на успех. Это было время так называемых свистунов, время всевозможных безобразий по части социализма, коммунизма, материализма, нигилизма, эманципации, простиравшейся на все виды глупости и разврата, время поругания всего, чем дорожит народ, общество, человек, время невероятной терроризации, которая производилась над целым обществом шайкою писак, захвативших в свои руки публичное слово» и пр.

Сходство между обоими отрывками разительное; в последнем только прибавлена весьма важная черта, дополняющая картину, именно сказано: что все нелепости не только проповедовались вслух, но и имели успех, что оплевывание и осмение не только было позволено себе писаками, но и достигало своей цели, наводило страх, производило терроризацию.

Итак, вот уже два года, как можно, на основании печатных данных, видеть, что в известных умах относительно нигилизма составилось весьма определенное мнение.

Я очень хорошо знаю, что почтенные авторы приведенных мною строк вовсе не имели в виду полноты в своем изображении; но я знаю также, что в этом неполном виде картина запечатлелась в умах читателей. Между тем, совершенно ясно, что существенного нерва дела в этих отрицательных чертах нет, и, как в отрицательных, и быть не может. Долгое время я размышлял в этом направлении и, наконец, убедился, что дело гораздо сериознее и стоит вовсе не так, как я прежде о нем думал.

Именно, скажу прямо и откровенно, что я должен отступить от своего общего мнения о направлении и деятельности «Современника», мнения, постоянно выражавшегося в моих письмах в редакцию «Времени»⁵. По свойственной смертным слабости, я льщу себя надеждою, что хотя немногие читатели помнят содержание этих писем. В них я только ради шутки, только иронически толковал о российской словесности по поводу различных явлений в «Современнике». Собственно говоря, я не приписывал этим явлениям ни малейшего значения в литературе. Рассуждения писателей этого журнала производили на меня невыразимо-комическое впечатление. Если я сравнивал их речи с рассуждениями калифа Омара относительно Александрийской библиотеки⁶, или с размышлениеми Кифы Мокиевича о том: а что если бы слон родился в яйце?⁷ или с просвещенными мнениями девицы Жмигулиной (в «Грех да беда на кого не живет»)⁸, то сравнение делалось отнюдь не ради смеха, не в виде полемической соли,— нет, это было просто сопоставление одинаковых явлений. Поразительная узкость и мелкость мысли, полнейшее отсутствие глубокого понимания, делающее возможным детски-наивные рассуждения, придающее величайшим нелепостям вид *соблазнительной ясности* — все это мне казалось только смешным и отнюдь не имеющим значения для общего хода русской литературы. Направление «Современника» весьма распространено; оно имеет своих поэтов, политico-экономов, юристов, критиков и т. д. Всем им, как я полагал и полагаю, предназначено весьма быстро кануть в Лету⁹. Кто предается этому направлению, тот может писать весьма много, но заранее должен иметь в виду эту классическую реку. Поэтов, например, оно положительно портит. Кто из них послабее, тот так и остается всю свою жизнь на общих фразах; кто посильнее, как г. Некрасов, тот еще держится, но беспрестанно попадает впросак; нет-нет да и посмеется над деревенскою бабой-старухой, зачем та сокрушаются, вспоминая, что

В пост испила молока¹⁰.

Баба, выставленная г. Некрасовым, глупа, в этом, конечно, нет сомнения; но смеяться над ней, да еще с такой сластью, в таких выработанных стихах — значит довольствоваться уж слишком малым превосходством над глупою бабою.

Все это, повторяю, мне казалось только смешным; я не думаю, чтобы подобные стихи и все подходящие под их масть про-

изведения прибавили хоть лепту к сокровищнице нашей словесности. Они исчезнут и забудутся; от них ничего не останется в нашей литературе.

Но есть одно явление в этом множестве, которое имеет большую прочность. Именно роман «Что делать?», по моему мнению, останется в литературе. Ибо он вовсе не производит смешного впечатления. Как бы кто ни был расположен смеяться, он потеряет свое расположение к смеху, перечитывая эти тридцать печатных листов. Роман написан с таким воодушевлением, что к нему невозможно отнестись хладнокровно и объективно, как это требуется для благодушного и искреннего смеха. Значит, он возбуждает негодование или вообще тяжелое чувство — заметят, может быть, читатели. А если бы даже и так, скажу я на это, то все-таки для этого многое требуется.

Не знаю как для кого, но смысл романа для меня ясен в каждой его строчке; я чувствую все его волнения и видоизменения с величайшою отчетливостию; в какой бы тон ни впадала речь, я слышу ее звук совершенно ясно и точно.

Так как уже неоднократно я заявлял читателям о некоторых моих личных свойствах¹¹, то скажу и теперь, что есть у меня для известных случаев способность полного понимания, способность видеть известные мысли насквозь, до самого дна. Отнюдь не думаю я гордиться этою несчастною проницательностию, тем более, что круг ее полного действия далеко не так обширен, как я желал бы. Я говорю несчастною, ибо она разрушает весь обман, весь видимый блеск некоторых явлений и обнаруживает их действительную сущность, сухую и безжизненную, как скелет. Но я заявляю об этой проницательности потому, что она есть факт, она — моя судьба, которую, я неизбежно должен перенести на себе; она — моя маленькая роль, которую мне назначено играть в нашем литературном мире.

В круг действия моей проницательности входит и роман «Что делать?» Невозможно выразить, до какой степени ясности я вхожу в смысл и тон всех его речей. Как люди близко знакомые и имеющие родственное настроение ума и сердца часто понимают друг друга по улыбке, по одному слову и движению, так для меня понятна в этом романе каждая мысль и каждое поползновение мысли.

Итак, я осознательно вижу все увлечение, с которым писан роман. Положительно, у нас не было в последние годы ни одного про-

изведения, в котором было бы слышно такое напряжение вдохновения. Какого рода это вдохновение — это другой вопрос; но эти тридцать печатных листов как будто написаны за один присест, единым духом. Наконец, в романе оказались свойства, которых трудно было ожидать и которых никто не ожидал; в нем есть некоторая наблюдательность, есть черты, верные действительности, есть даже некоторая ловкость в изображении, попытки на образы.

Но этого мало. Источником этого воодушевления, главною его пружиною, был известный взгляд на мир, известное учение. Этот роман представляет наилучшее выражение того направления, в котором он писан; он выражает это направление гораздо полнее, яснее, отчетливее, чем бесчисленные стихотворения, политico-экономические, философские, критические и всякие другие статьи, писанные в том же духе.

В этом отношении, т. е. в отношении к направлению, как известно в настоящую минуту, существует некоторое сомнение. Имено, «Современник» заявил, что он не согласен с романом «Что делать?», что он не разделяет всех его взглядов. Но, по моему мнению, это значит только то, что «Современник» попал впросак.

Дело случилось как-то совсем нечаянно. Целый год г. Щедрин шутил себе да шутил в «Современнике» надо всем, что попадалось на глаза. Он глумился и над лучшими из имен, и над самыми чистыми и светлыми мыслями; но все ему сходило с рук благополучно. В одно прекрасное утро ему попался на язык роман «Что делать?»; мимоходом он слегка подшутил и над ним. О! конечно, это было сделано только по неосторожности и без всякой определенной мысли. О, конечно, он этого не сделал бы, если бы знал, как ему за это достанется от нигилистической журналистики.

Г. Щедрин подшутил над мечтами о будущем, изложенными в романе «Что делать?». Вот слова г. Щедрина («Совр.» № 1, стр. 26):

«Когда я вспомню, например, что „со временем“ дети будут рождать отцов, а яйцы будут учить курицу, что „со временем“ зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что „со временем“ милые нигилистки будут бессстрастной рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать: „Ни о чем я, Дуня, не тужила“ (ибо „со временем“, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до сих пор совесть моя была чиста»¹².

Вот и все. Невинность г. Щедрина очевидна. Ему вовсе не приходило на мысль, что легко и шутя говорить об этом не следует и вообще, а не только в том журнале, где он пишет.

Но, когда невинная шутка его вызвала ярые порицания в «Русском Слове»¹³, — делать было нечего; нужно было признать за собою определенную мысль, оправдывающую шутку. Тогда явилось следующее, очевидно, вынужденное объяснение:

«В прошлом году вышел роман „Что делать?“ — роман сериозный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслию вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ей, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие (под этим разумеются деятели „Русского Слова“) понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют на счет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их *перспектива работать с пением и плясками*. Точно так же, например, в сочинениях Фурье¹⁴ их увлекла бы не теория страстей, положенная в основание его универсальной ассоциации, не плодотворная концепция гармонического воспитания, и проч., а какие-нибудь anti-lions и anti-réquins¹⁵, и какие-нибудь когорты мальчиков, с самоутверждением предающихся очищению отхожих мест и т. п. В этом случае они следуют примеру составителей паскудных французских литографий: посмотришь на надпись,— написано L'oiseau envolé!¹⁶, посмотришь на картину — никакой oiseau envolé тут нет, а просто девица грациозно приподняла платье и показывает sa Jambe bien faite¹⁷... И когда такие (*такие? непонятно, а впрочем, ничего, не в том дело*) их пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: „эге! да вы, кажется, уж глумитесь!“ И, таким образом, сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество»¹⁸.

Вот и все, что было сказано в «Современнике» против романа «Что делать?». Повторяю, на эти краткие и робкие заявления во все не следует обращать внимания. Всякий, кто хорошо понимает роман, согласится, что объяснение г. Щедрина есть одна уловка, и что подробности, которые он осуждает, глубочайшим образом связаны с главною мыслью, с основным духом всего романа.

Итак, этот роман и написан с удивительным жаром и удивительно верен самому себе. Вот почему, читая его, нельзя не чувствовать, что автор фанатически увлечен своею мыслью, что он верит в нее вполне, безусловно.

Какая же эта мысль? В чем состоит эта господствующая идея?

Она состоит в мысли о *счастии*, в представлении *благополучной жизни*. Роман учит, как быть счастливым.

На нем надписано: *из рассказов о новых людях*. Можно было бы совершенно верно заменить: из рассказов о счастливых людях, которые до того умны, что умеют всегда счастливо устроить свою жизнь. И в самом деле, они удивительно счастливы. Известно, что жизнь человеческая подвержена многоразличным бедствиям и страданиям, что жить на свете трудно. Новым людям жизнь легка; весь роман, в котором они изображены, состоит из рассказа о том, как искусно они умеют избегать всякого рода неудобств и несчастий. Например — неудобство, которое составляет канву всего романа, заключается в том, что жена одного из героев, Лопухова, влюбляется в его приятеля, Кирсанова. Случай весьма обыкновенный и обычно приносящий с собою немало тревог и затруднений. Но у новых людей дело обходится благополучно в высочайшей степени. Лопухов совершает фальшивое самоубийство и тайком уезжает за границу. Таким образом, его жена получает возможность вступить в законный брак с Кирсановым. Сам же Лопухов богатеет в Америке, приезжает в Петербург под видом американца и находит себе здесь другую, новую подругу жизни.

Вообще, несчастий и неудач в романе не полагается. Неудачи бывают только временные, которые в конце концов завершаются полнейшою удачей. Единственные несчастья, упоминаемые в романе, кажется, были те, которые случались с девушками в мастерской Веры Павловны Лопуховой.

«Истории обычные, те, от которых девушкам бывают долгие слезы, а молодым или пожилым людям не долгое, но приятное развлечение».

Но и эти беды оказывались не бедами.

«Каждая из этих обыкновенных историй приносила Вере Павловне много огорчения, а еще гораздо более дела: иногда нужно бывало искать (*разумеется, девушек, с которыми была история*), чтобы помочь; чаще искать не было нужды, надобно было только помогать: успокоить, восстановлять бодрость, восстановлять гордость, вразумлять, что „*перестань плакать, как перестанешь, так и не о чем будет плакать*“»¹⁹.

Надобно заметить, что новые люди, счастливые люди, находятся в каком-то исключительном положении, очевидно, очень удобном для их благополучия. Именно, они не имеют детей и почти не имеют отцов и матерей. Во всем романе не упоминается ни разу рождение ребенка²⁰. И даже в женской мастерской Веры Павловны, несмотря на историю, о которых сейчас говорилось, не было ни одного случая рождения. Таким образом, нужно было только *восстановлять гордость*, а принимать и воспитывать детей не приходилось²¹.

Что касается до отцов и матерей, то, относительно девушек мастерской прямо сказано: половина их были существа одинокие. Вероятно, Вера Павловна находила это обстоятельство весьма удобным для поступления в новые люди; ибо, замечено в другом месте, *девушки, из которых образовалась основа мастерской, были выбраны осмотрительно*. У главных героев романа, у тех, которые движутся на переднем плане, у Лопухова, Кирсанова, Рахметова — точно так же оборваны все семейные связи. У одной только Веры Павловны отец и мать выступают на сцену; но между ними и ею нет ничего общего, и сама Вера Павловна смотрит на свою мать, скорее как на какую-то хозяйку, чем как на мать.

Что бы мы ни взяли, во всем новые люди счастливы. Много-различны бедствия человеческой жизни. Случается, напр., что люди достойные подвергаются оскорблению, которых не заслуживали. Для новых людей этой беды не существует.

«Какой человек был Лопухов? Вот какой: шел он в оборванном мундире по Каменно-Островскому проспекту (с урока, по 50 коп. урок, верстах в трех за лицеем); идет ему навстречу некто осанистый, моцион делает, да, как осанистый, прямо на него, не становится; а у Лопухова в то время было правило: кроме женщин ни пред кем первый не становлюсь. Задели друг друга плечами; некто, сделав полуоборот, сказал: „что ты за свинья, скотина“, готовясь продолжать назидание, а Лопухов сделал полный оборот к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву очень осто-

рожно и стоит над ним и говорит: „ты не шевелись, а то дальше притащу, где грязь глубже“. Проходили два мужика, заглянули, похвалили; проходил чиновник, заглянул, не похвалил, но сладко видно, что лежит в канаве; постоял Лопухов, опять взял некоего, не в охапку, а за руку поднял, вывел на шоссе и говорит: „Ах, милостивый государь, как это вы изволили обрушиться? Не повредились, надеюсь? Позвольте вас обтереть?“ Проходил мужик, стал помогать обтирать, проходили два мещанина, стали помогать обтирать, обтерли некоего и разошлись. С Кирсановым не было такого случая, а был другой случай. Некая дама, у которой некие бывали на посылках, вздумала, что надобно составить каталог библиотеки, оставшейся после мужа вольтерьянца, который умер за двадцать лет перед тем. Зачем именно через двадцать лет понадобился каталог, неизвестно. Составлять каталог подвернулся Кирсанов, взялся за 80 р.; работал полтора месяца. Вдруг дама вздумала, что каталог не нужен, вошла в библиотеку и говорит: „не трудитесь больше, я передумала; а вот вам за ваши труды!“, и подала Кирсанову 10 р.— „Я, ваше ***, даму назвал по титулу, сделал уже больше половины работы; из 17 шкапов переписал 10“.— „Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas, поди сюда, переговори с этим господином“. Влетел Nicolas.— „Ты как смеешь грубить татан?“ — „Да ты, молокосос,— выражение неосновательное со стороны Кирсанова: Nicolas был старше его годами пятью,— выслушал бы прежде“.— „Люди“, крикнул Nicolas.— „Ах, люди? Вот я тебе покажу людей!“ Во мгновение ока дама взвизгнула и упала в обморок, а Nicolas постиг, что не может пошевельнуть руками, которые притиснуты к его бокам, как железным поясом, и что притиснуты они правою рукою Кирсанова, и постиг, что левая рука Кирсанова, дернувши его за вихор, уже держит его за горло и что Кирсанов говорит: „посмотри, как легко мне тебя задушить“ и давнул горло: и Nicolas постиг, что задушить точно легко, и рука уже отпустила горло, можно дышать, только все держится за горло. А Кирсанов говорит, обращаясь к появившимся у дверей голиафам²²: — „Стой, а то его задушу. Расступитесь, а то его задушу“. Все это постиг Nicolas в одно мгновение ока и сделал *помавание носом*, что, дескать, он основательно рассуждает.— „Теперь проводи-ка, брат, меня до лестницы“, сказал Кирсанов, опять обратясь к Nicolas, и, продолжая по-прежнему обнимать Nicolas, вышел в переднюю и сошел с лестницы, издали напутствуемый умиленными взорами

голиафов, и на последней ступеньке отпустил горло Nicolas, отпихнул самого Nicolas и пошел в лавку покупать фуражку вместо той, которая осталась добычею Nicolas»²³.

Дело, как видно, случилось летом, и Кирсанову не пришлось оставить у Nicolas никакого верхнего платья. Так вот с какою твердостию и ловкостию выходят новые люди из затруднений. Не забудем, что сам автор приводит эти черты как характеристические для своих героев.

Еще пример. Немало зла приходится терпеть людям от бедности. Борьба с бедностью часто бывает очень тяжела и оставляет тогда глубокие следы на человеке. Для новых людей все это очень легко. Герои романа все люди бедные, неимущие; но денежные затруднения являются в романе только затем, чтобы тотчас быть побежденными. Наконец, Вера Павловна совершенно спокойно объявляет однажды о своем муже Лопухове, что он *может достать столько денег, сколько захочет*. В торжественной речи к девушкам своей мастерской она говорит, между прочим:

«Мы с мужем живем, как вы знаете, без нужды; люди не богатые, но всего у нас довольно. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, да и говорить бы не надобно, он бы сам заметил, что мне нужно больше денег, *и было бы у меня больше денег*. Он теперь занимается не такими делами, которые выгоднее, а такими, которые ему больше нравятся. Но ведь мы с ним друг друга очень любим, и ему всего приятнее делать то, что для меня приятно, все равно, как и мне для него. Поэтому, если бы мне недоставало денег, он занялся бы такими делами, которые выгоднее нынешних его занятий, а он сумел бы найти, потому что он *человек умный и оборотливый*»²⁴.

Читатель видит, что это сказано не в смысле плутовской поговорки: *был бы ум, а деньги будут*, а в самом чистом идиллическом смысле.

Возьмем теперь другую, внутреннюю сторону дела. Жизнь человеческая слагается не из одних внешних случаев и обстоятельств. Положим, всегда можно достать денег, положим, всегда можно свалить *некоего осанстистого* в канаву, положим, можно иногда обойтись без отца и матери, и не всегда от обыкновенных историй рождаются дети. Есть другие вещи, которые не так легко достигаются; есть стремления и цели такого рода, что легче десять раз разбогатеть в Америке, чем удовлетворить этим стремлениям и достигнуть этих целей.

Во-первых, люди бывают различны по своему внутреннему содержанию; по душе, по уму, по сердцу, по страстям и способностям. Обыкновенно чем сильнее человек, чем крепче его натура, тем резче выдаются его особенности. Отсюда — борьба человека с обстоятельствами, борьба и разногласие с другими, людьми, наконец, борьба с самим собою, если он вздумает пересиливать свою натуру и идти по дороге ему не свойственной. Вот источник многих горестей и радостей человеческой жизни.

У новых людей нет этого источника. Они все похожи друг на друга. О главных своих героях, Лопухове и Кирсанове, автор прямо говорит:

«Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от его задушевного приятеля и не умел сказать о нем ничего такого, чего не надо было бы повторить и о Кирсанове»²⁵.

Затем рассказывается анекдот о том, как Лопухов повалил некоего осанистого въ канаву и как Кирсанов душил Nicolas; рассказавши, автор спрашивает:

«Ну, что же различного скажете вы о таких людях? Все резко выдающиеся черты их — черты не индивидуумов, а типа, типа до того разнящегося от привычных тебе, проницательный читатель, что его общими особенностями закрываются личные разности в нем. Эти люди среди других — будто среди китайцев несколько человек европейцев, которых не могут различить одного от другого китайцы»²⁶.

Несколько далее та же мысль излагается подробнее и яснее:

«Но, как европейцы между китайцами все на одно лицо и на один манер только по отношению к китайцам, а на самом деле между европейцами несравненно больше разнообразия, чем между китайцами, так и в этом, по-видимому, одном типе, разнообразие личностей развивается на разности более многочисленные и более отличающиеся друг от друга, чем все разности всех остальных типов разнятся между собою. *Тут есть всякие люди: и сибариты*²⁷, *и аскеты*²⁸, *и суровые, и всякие, всякие*. Только, как самый жестокий европеец очень кроток, самый трусливый очень храбр, самый сладострастный очень нравствен перед китайцем, так и они; самые аскетичные из них считают нужным для человека больше комфорта, чем воображают люди не их типа, самые чувственные строже в нравственных правилах, чем морализаторы не их типа. Но все это они представляют себе как-то по-своему: и нравственность, и комфорт, и чувственность, и добро понимают

они на особый лад, и все на один лад, и не только все на один лад, но и все это как-то на один лад, так что нравственность и комфорт, и добро и чувственность, все это у них выходит как будто одно и то же. Но все это опять только по отношению к понятиям китайцев, а сами между собою они находят очень большие разности понимания, по разности натур. Но как теперь уловить эти разности натур и понятий между ними?»²⁹

Уловить, очевидно, дело нелегкое, и недаром этим вопросом заканчивается тирада, так сильно настаивающая на существовании разностей. За этой тирадой следует и самое уловление, именно с чрезвычайной тщательностью рассказывается, почему Вера Павловна предпочла Кирсанова Лопухову, несмотря на все их сходство между собою.

Что же оказывается? Оказывается, что для Веры Павловны действительно была разница между Лопуховым и Кирсановым. Дело весьма понятное. Беда только в том, что разница эта существует только для Веры Павловны, а для нас с вами, читатель, разницы нет никакой. Любовь женщины обыкновенно считается великим благом. Поэтому в романах заведено награждать любовью того, кто достойнее, кто больше носит в себе сил; так, Печорину отдается предпочтение перед Грушницким, Бельтову перед Круциферским, Лаврецкому перед Паншиным³⁰; так, люди, подобные Рудину или Базарову³¹, наказываются тем, что их нельзя любить. Роман «Что делает?» тем, конечно, и отличается от других романов, что в нем оба героя равно достойны, одинаково достолюбезны: если же один из них оказался *вкуснее* другого *, то это дело Веры Павловны, и никакого нравоучения отсюда извлечь невозможно.

Так точно и вообще. Между всеми лицами романа, между всеми новыми людьми, которые в нем действуют, нет никакой существенной разницы. Вот почему в целом романе между ними не возникает не только никакой борьбы, но не является ни одного разногласия, ни малейшей ссоры или неприятности. Все понимают друг друга с полуслова, и все так одинаково смотрят на вещи, что никто никого не раздражает и не задевает ни речами, ни поступками. Счастливые люди!

* Выражение одной, превосходно изображенной женщины в романе «В своем Краю», К. Леонтьева. Весь роман вообще весьма свежее и теплое произведение³².

Пойдем далее. Жизнь прожить не поле перейти, говорит пословица. Для каждого живого человека жизнь представляет некоторую историю, имеющую свои периоды и дающую свои уроки. Дело в том, что человек не вдруг узнает себя и других, что самопознание и понимание своих отношений проясняются только постепенно. Поэтому человек может ошибаться, как заметил уже Цицерон³³. Человек может долго обманываться и в себе, и в других. Не сознавая ясно своих сил и настроений, человек долго может увлекаться по известному пути, пока жизнь не отрезвит его, не напомнит ему каким-нибудь жестоким ударом, что он заблуждается. Самые благородные намерения, самые чистые цели часто не спасают от самообольщения. Случается, что то, что человек считает лучшим своим достоинством, оказывается злом для него самого и ставит его в тяжко-неправильное положение в отношении к другим. Эти уроки жизни часто ломают жизнь; но, если они выносятся, то ведут к большему и большему нравственному просветлению. Не говорю уже о разочаровании в людях, — ему не подвергается только тот, кто никогда не бывает очарован.

Ничего подобного не бывает с новыми людьми. Они являются, так сказать, совершенно готовыми, вполне окрепшими и уставившимися. Для них невозможны ни ошибки, ни колебания, ни разочарования. Им нет в жизни ни испытаний, ни уроков. Учиться им нечему, а можно только учить других. Так они и делают; так Лопухов учит Веру Павловну, Кирсанов Рахметова; так Вера Павловна устраивает мастерские и наставляет своих девушек.

Относительно других людей, для них, для новых людей, точно так же невозможно разочарование. «Добрые знакомые такого человека, — сказано в романе, — все такие же люди, как он: с другими не водится у него доброго знакомства»³⁴. Счастливые люди! Счастливые люди!

Можно подумать, что изменяется природа человека. Читая этот роман, я часто невольно нападал на эту мысль. В особенностях мне приходили на ум отзывы некоторых физиологов, ставшихся характеризовать полы и возрасты того странного животного, которое называется человеком. Любопытства ради, я приведу слова этих знаменитых натуралистов, думавших, что они так хорошо знают человеческую природу.

Вот что говорит Рудольфи *³⁵.

* Grundriss der Physiologie. 1. Bd. S. 259.

«*Тело мужчины* больше, во всех частях устроено тверже и имеет более резкие очертания; снабжено более крепкими костями, связками, мускулами и нервами; его мозг больше; его орган голоса, а также органы движения, кровообращения, пищеварения имеют больший объем и большую силу. Мужчина менее восприимчив, менее впечатлителен, поэтому и нравственно крепче и больше способен на всякое напряжение; повинуется более уму, чем чувству; сам себя воспитывает; в отношении к мужчине способен к благороднейшей дружбе, в отношении къ женщины часто *деспотичен и несправедлив*, но обыкновенно бывает ею перехитрен и подчинен; в отношении к детям спокойнее, хладнокровнее, поэтому лучший воспитатель; в *страстях* сильно *вспыхивает*, часто *жесток и груб*, но обыкновенно скорее одумывается; открытее, правдивее, великодушнее».

«*Женщина* устроена во всех частях нежнее и мягче; ее орган голоса и ее дыхательные органы меньше, но подвижнее; она восприимчивее и впечатлительнее, но зато и *слабее, изменчивее, неровнее, причудливее, упрямее, суэтнее, боязливее, суевернее, лукавее, жесточе*; к дружбе в отношении к собственному полу почти неспособна; мужчине часто предана фанатически; детей приковывает к себе любовью и готова для них на величайшие жертвы, часто самым трогательным образом. При хорошем воспитании она превосходит мужчину в благонравии, кротости, смирении, терпении и незлобии и раскрывает душевые прелести, помрачающие всякую телесную красоту. При дурном воспитании она может стать фуриею и гиеною и превосходит мужчину во всех пороках».

Как много темных черт в этом кратком изображении знаменитого физиолога; как много поводов к нарушению гармонии и ко всякого рода житейским столкновениям! У новых людей ничего этого нет. Неизвестно, достигают ли они тех достоинств, которые Рудольфи приписывает человеку; напр., о любви к детям и воспитании их, на что так настоятельно указывает физиолог (на то он и физиолог!), в романе даже не упоминается. Но что касается человеческих недостатков, упоминаемых Рудольфи, то новые люди положительно их не имеют. Счастливые люди!

А вот как другой физиолог, Иоганн Миллер ³⁶, говорит о человеческом развитии *. Он разделяет человеческую жизнь на три

* Handbuch der Physiol. d. M. 2. Bd. S. 765.

возраста, на возраст *незрелый*, возраст *половой зрелости* и возраст *бесплодный*. Я опущу то, что касается телесного развития.

«К отроческому возрасту (т.е. ко второй половине незрелого возраста) дух уже достигает способности и крепости, необходимой для наращения сведений и для собственного развития; рост идет медленнее, материальный состав установился, и это время жизни есть период школы и духовного воспитания; тут полагается основание ко всему, в чем коренится дальнейшая, духовная жизнь.

В возрасте *половой зрелости* можно различать возраст *зрелой юности* и возраст *мужества*... С наступлением половины зрелости наступает вместе большая зрелость органов дыхания и голоса, и самое совершенное и цветущее развитие формы всего тела, так что черты лица часто быстро изменяются и принимают выражение, которое потом удерживают всю жизнь. Лицо, имевшее прежде детский характер, служит теперь для выражения более сильных страстей; руководство других прекращается и уже более не выносится; злонравие дурно воспитанного ребенка прорывается наружу; *начинаются заблуждения жизни, ставшей самостоятельной*, которая хочет *научиться собственным опытом и примером и чувствует себя свободно*. В обоих полах возбуждается могущественная поэтическая жизнь фантазии; это время идеалов, без зависти, без своекорыстия, без зложелательства, полное открытой самоотверженной дружбы; *перед ними лежит безграничное поприще творчества. Никто еще не знает своих собственных границ, приходящих к сознанию в трезвости мужества*. Любовь есть средоточие благороднейших чувств. Растительное развитие, относящееся к неделимому, окончено, и потому возрастание органической силы направляется к новым продуктам рождения.

В возрасте мужества тонкие формы юности уступают место более обильному распределению материи и большей полноте тела, в которой обнаруживается потеря власти формирующей силы над массами. В этом возрасте и духовная жизнь достигает своей зрелости; *избыток ощущений отпадает*, этот возраст уже определил и знает, что достигнуто, что не удалось, в чем была сделана ошибка, знает свои границы и свои приобретения, мир стал для него спокойнее, яснее, трезвее; страсти еще действуют, но в другом направлении, стремясь к обладанию и защите. Тут огораживаются и расширяются дом, двор, семейство; заботы устремлены на то, чем обладает человек в собственной

сфере; тут человек привязывается к клочку земли и строит себе дом на будущее время, до которого часто не доживает».

Жестоко ошибся глубокомысленный немец, написавший этот очерк человеческого развития; под него не подходят наши новые люди. У них не бывает заблуждений жизни, стремящейся *научиться собственным опытом и примером*; они, как будто не живши, уже знают жизнь и обладают трезвостью мужества чуть ли не с двенадцатилетнего возраста. Перед ними никогда не лежит *безграничного поприща деятельности и мышления*; они с юных лет знают границы желаний и мыслей, знают, что и как ждет их впереди. Поэтому им никогда не случается горевать о том, к чему они стремились, но что́ не достигнуто, жалеть о том, что́ не удалось, оплакивать то, в чем были сделаны жестокие ошибки; словом, им не приходится сознавать свои *границы*, видеть, что́ они такое, чем успели стать и чем не успели.

Эти люди являются в жизнь во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера³⁷; недаром они представители новой мудрости. Они ровно и постепенно прокладывают себе дорогу, не сбиваясь ни разу в сторону, так как у них никогда не бывает ни избытка ощущений, ни порывов фантазии.

«Каждый из них,— сказано в романе,— человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук».

А дальше:

«Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его, они были исключениями, и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными, и от этого бездействовали, то есть не могли иметь *главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности*. То были люди, хоть и *той же натуры*, но еще не развившейся до этого типа, а он, этот тип, *зародился недавно*»³⁸.

Роман недаром так выражается. Зарождение нового типа людей, непредвиденного немецкими физиологами, есть действительное *зарождение*. Роман не думает рассказывать того, каким образом Кирсанов и Лопухов из старых людей стали новыми людьми; подобной превратности в их жизни не существовало; они так прямо и родились новыми людьми. Счастливые люди!

Еще яснее подтверждается это рассказом о Рахметове, самом блистательном из героев романа, человеке не только новом, но и особенном между новыми. Об нем прямо сказано, что для этого «задатки в прошлой жизни были; но чтобы стать таким особым человеком, конечно, главное — натура»³⁹.

Сделаем еще один шаг. При такой натуре, при счастливых особенностях своего типа, новым людям, без сомнения, живется легко и удобно. Но неужели же они только и делают, что живут легко и удобно? Обыкновенные люди большую частью этим не довольствуются. Жизнь человеческая, между прочим, бедственна и потому, что человеку свойственно стремиться к вещам высоким и трудным, что эти высокие и трудные вещи достигаются тяжкими и долгими усилиями и что даже тяжкие и долгие усилия нередко остаются бесплодными. Положим, при известной натуре можно еще устроить как-нибудь дело, если мой приятель влюбится в мою жену; но так ли легко дастся мне успех, если мною овладеет желание писать стихи или ваять статуи, если я вздумаю изучать какой-нибудь обширный и трудный предмет, если стану решать мировые задачи? Да и не только это; даже для того, чтобы быть порядочно образованным и сведущим человеком, чтобы не идти за толпой, чтобы не судить о вещах вскривь и вкось, а иметь на них ясный и твердый и, следовательно, самостоятельный взгляд, даже для этого нужны долгие годы учения, много чтения и размышлений.

У новых людей это не так трудно. Новые люди обладают некоторою мудростию, составляющею основу всех их мыслей и делающую из них истинно новых людей. Но эта мудрость, не в пример другим, приобретается легко и скоро. Вот, например, как рассказывает роман о приобретении этой мудрости Рахметовым, о котором мы только что говорили. Не выпускаю ни одной строчки.

«16 лет он приехал в Петербург *обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом*, обычным, добрым и честным юношем и провел месяца три-четыре по обычному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные головы, которые *думают не так, как другие*, и узнал с пяток имен таких людей, — тогда их было еще мало. Они заинтересовали его, он стал искать знакомства с кем-нибудь из них; ему случилось сойтись с Кирсановым и началось его перерождение в особенного человека, в будущего Никитушку Ломова и ригориста. Жадно слушал он Кирсанова в

первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить.— „С каких же книг мне начать?“ Кирсанов указал. Он на другой день уже с 8 часов утра ходил по Невскому, от Адмиралтейской до Полицейского моста, выжидал, какой, немецкий или французский книжный магазин первый откроется, взял что нужно, и читал больше трех суток сряду,— с 11 часов утра четверга до 9 часов воскресенья, 82 часа, первые две ночи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе, до четвертой ночи не хватило силы ни с каким кофе, он повалился и проспал на полу часов 15. Через неделю он пришел к Кирсанову, потребовал указаний на новые книги, объяснений; подружился с ним, потом через неделю подружился с Лопуховым. *Через полгода*, хоть ему было только 17 лет, а им уж по 21 году, они уже не считали его молодым человеком сравнительно с собою, и уж он был особенным человеком»⁴⁰.

Итак, нужно не более полугода для того, чтобы исчерпать эту мудрость. И вся она заключается в немецких и французских книжках, продаваемых в магазинах между Адмиралтейской площадью и Полицейским мостом. Некоторые из них, вероятно, найдутся и в конторе «Современника».

Счастливые, трижды счастливые люди!

При подобных свойствах и натурах понятно, что жизнь должна им представляться в самом розовом свете или в одних светлых красках, без теней, как пишут свои картины китайцы. Наш роман имеет большое сходство с такою картиною. Самый добродушный оптимизм господствует в нем с начала до конца и вылился в конце одной из глав следующею жаркою выходкою:

«Я держу pari, что до последних отделов этой главы Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными, пожалуй, даже лицами, невозможными в действительности по слишком высокому благородству. Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои, это не так вам представлялось: не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко. Вы видите теперь, что они стоят просто на земле; это оттого только казались они вам парящими в облаках, что вы сидите в преисподней трущобе. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Высшие натуры, за которыми не угнаться мне и вам, жалкие друзья мои,

высшие натуры не таковы. Я вам показал легкий абрис профиля одной из них: не те черты, вы видите. А тем лицам, которых я изображаю вполне, вы можете быть равными, если захотите поработать надъ своим развитием. Кто ниже их, тот низок. Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это *не так трудно*, выходите на вольный белый свет, *славно жить на нем*, и путь *легок и заманчив*, попробуйте! — развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о *чистом наслаждении жизнью*, о том, что человеку можно быть *добрый и счастливым*. Читайте их — *их книги радуют сердце*, наблюдайте жизнь — *наблюдать ее интересно*, думайте — *думать завлекательно*. Только и всего. *Жертв не требуется, лишний не спрашивается — их не нужно. Желание быть счастливыми — только, только это желание нужно.* Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии; в нем счастье. *О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует как жертву, горе, он чувствует как удовлетворение себе, как наслаждение, а для радостей как открыто его сердце, и как много их у него! Попробуйте — хорошо!*»⁴¹

Но ведь это ужасно, читатель. Я думаю, что тонкий холод ужаса должен прохватить каждого живого человека, когда он прочтет это приглашение к счастью. Эта речь звучит каким-то странным, почти нечеловеческим тоном. Что́ это такое, утешение или насмешка?

Нет, это не утешение. Если человеку довелось в жизни принести великие жертвы, претерпеть жестокие лишения, то его не утешают, говоря ему: жертв не требуется, лишний не спрашивается — их не нужно.

Если кому довелось испытать в жизни глубокое горе, то для него не будет утешением, если ему скажут: то, что другой чувствует как горе, человек развитой чувствует как удовлетворение себе как наслаждение.

Если кого судьба загнала в житейские трущобы и он не может выбиться из них, несмотря на все усилия, то его нельзя утешить, сказавши: поднимайтесь из вашей трущобы, это не так трудно.

Или может быть это насмешка? Но кто же смеется таким жестоким образом? Кто же решится так прямо похвалиться своим счастием и тыкать им в глаза людям страдающим? Если человек в отчаянии, если он видит, что дело целой его жизни рушится, кто решится подойти к нему и сказать: «читайте вот эти книжки —

они радуют сердце»? Если человек убит горем, если он потерял жену, друга, или лучшую свою надежду, кто вздумает ему сказать: наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно? Если человек терпит жестокие лишения и приносит жертвы, разве можно ему говорить: думайте — думать завлекательно?

Нет, это не насмешка и не утешение. Это простое, холодное, почти нечеловеческое отрицание страданий. Мы, бедные простые смертные, мы заблуждаемся умом и увлекаемся сердцем, мы стремимся и падаем, желаем и не достигаем; для нас все больно, все чувствительно; мы сомневаемся и верим, боимся и надеемся, плачем и радуемся; и счастлив у нас тот, кто никогда не терял бодрости, не падал до конца духом; цели жизни так высоки и блага ее так прекрасны, что достижение их, даже отчасти, вполне искупают всякие страдания.

Но вот являются новые люди и говорят нам: а вот мы не страдаем; ваши страдания просто не нужны, и мы умеем избежать их. Мы не колеблемся, не ошибаемся; путь жизни нам легок: мы заранее знаем, как нужно действовать и какие книжки читать. Хотите ли быть счастливыми? Попробуйте развиться и походить на нас. Попробуйте — хорошо!

Что же вы скажете, читатель, на такое предложение? Не могу выразить, каким холодом оно повеяло на меня в первый раз, когда я прочел его! Мне показалось, что от него должен напасть ужас на каждого живого человека, что всякий живой человек, ни минуты не колеблясь, отвечал бы: не нужно мне вашего счастья! На этот нечеловеческий холод, на эту страшную пустоту, которую вы называете счастьем, на эту безошибочность и ничем не разрушающее спокойствие я ни за что не променяю моей бедной и трудной, но все же теплой и трепетной, наполненной жизнью жизни.

Постойте, скажет, может быть, иной читатель. Не пугаете ли вы нас призраками? Конечно, было бы жутко встретиться в действительности с лицами, до такой степени уклоняющимися от общих законов человеческой природы. Конечно, странно чувствовать подле себя существа как будто другого мира, другой планеты. Но ведь это выдумка, это роман; разве можно поверить, что такие люди существуют? Они, вероятно, не более как фантазия автора.

На это я отвечу: прочитайте самый роман, и вы убедитесь в противном. Роман, конечно, написан сказочно, написан для прославления своих героев, которым все удается, но самая кон-

цепция характеров, проведенная до многих тонких подробностей, очевидно, была бы невозможна, если бы не было в действительности чего-нибудь соответствующего.

Нельзя говорить с такой твердостью и ясностию о предметах несуществующих и только сочиненных. Кроме того, прямые заявления романа о существовании новых людей невозможно подвергать никакому сомнению. Наконец, самый сильный довод, по моему мнению, тот, что выдумать таких людей невозможно; они слишком необыкновенны, слишком *особенны*, чтобы прийти на мысль тому, кто их видел.

Итак, эти новые люди существуют. Немецкие физиологи действительно ошиблись в своих характеристиках; есть человеческий тип, который не подходит под то, что до сих пор называлось человеком. Он явился недавно, явился на нашей земле и, может быть, немцам и французам никогда не видать у себя таких людей, хотя эти люди и воспитываются на немецких и французских книжках. Дело не в книжках, а в крови. Разве не слышна в этом типе частица русской силы? А вот еще одна черта, выставленная в романе, которая поражает своею особенностью.

«Каждый из них человек безукоризненной честности, такой, что не приходит в голову вопрос: „можно ли положиться на этого человека во всем безусловно?“ Это ясно, как то, что он дышит грудью: пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна — смело кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть»⁴².

Горяча сказано напрасно, но неизменна — действительно. Дело в том, что для этих людей соблазна не существует, у них никогда не бывает сильных желаний, которые бы могли покачнуть их в сторону; им никогда не приходится одерживать победы над собою; они так отвлечены, так аскетичны, что честность, простая честность уже ровно ничего им не стоит. Они, действительно, над нею и не задумываются. Не всегда это так и бывает, и остается, но бывает.

Вообще, это тип, очевидно, скучный и сухой. Несмотря на то, повторяю, в нем есть некоторая сила. Нет в нем человеческой теплоты, нет полноты человеческих чувств, недостает нервов и крови, но все-таки, это крепкие организмы. Я жестоко бы затруднился, если бы вздумал не только указать, но и объяснить это удивительное явление. Физиолог сказал бы, что оно представляет очевидную остановку развития, глубокое нарушение равновесия в духовном организме. Где искать источников такого

нерадостного и поразительного уклонения от нормы? Может быть, причина его лежит вообще в том холода, который бывает свойствен русской натуре; может быть, оно зависит от влияния Петербурга, который сам, очевидно, есть произведение этого холода; может быть, в нем отзывается та глубокая и странная *оторванность от истории*, от временной жизни, которая дает такой необычайный характер нашему историческому росту.

Во всяком случае, мы имеем перед собою крайние грани этого неправильного развития, по крайней мере, грани, получившиеся в известном направлении этого развития. «Что делать?» изображает нам с большой подробностью душевное настроение новых людей. В этом романе много пищи для анализа, и я в своем разборе далеко не имею притязания на полноту.— Склад ума этих не страдающих людей, их взаимные отношения, их женщины, их манеры — все явственно выступает в романе, несмотря на отсутствие художественного умения.

Подумать, следовательно, есть о чем. Без сомнения, новый тип долго будет отзываться в нашей жизни, меняя только формы, но в сущности оставаясь тем же. Будем же его исследовать.

Мы видели, что новые люди не страдают. Как ни завидно, по-видимому, такое их свойство, очевидно, однако же, его еще мало для того, чтобы назвать кого-нибудь счастливым. Чтобы быть счастливым, нужно чего-нибудь желать, что-нибудь любить, на что-нибудь надеяться. В этом главное условие счастья, а не в отсутствии страданий. Когда человек видит перед собою высокие цели и надежды, тогда он готов согласиться и на страдания, и на возможность бед и несчастий, лишь бы в то же время была возможность достигнуть этих целей и исполнить эти надежды. Итак, что же любят новые люди, чего они желают, на что надеются? В чем их положительный идеал? В чем сущность их счастья?

Роман подробно объясняет все это, и я постараюсь изложить его ответ в следующей статье⁴³.

